**Слепой Уилли**

Стивен Кинг

6:15 УТРА

Он просыпается под музыку, всегда под музыку. В первые затуманенные мгновения наступающего дня его сознание попросту не справляется с пронзительным «биип-биип-биип» радиобудильника. Словно самосвал дает задний ход. Но и музыка в эту пору года совсем не сахар: радиостанция, на которую он настраивает свои радиочасы, травит сплошь рождественские песни, и в это утро он просыпается под одну из двух-трех Самых Тошнотворных в его черном списке — под воздыхающие голоса, исполненные слащавой елейности. Хорал «Харе Кришна», или «Певцы Энди Уильямса», или что-то в том же духе. Слышишь ли ты, что слышу я, выпевают воздыхающие голоса, когда он приподнимается и садится под одеялом, сонно моргая, а волосы у него торчат во все стороны. Видишь ли ты, что вижу я, выпевают они, когда он сбрасывает ноги с кровати, шлепает, гримасничая, по холодному полу к радио и нажимает клавишу отключения. Оборачивается и видит, что Шэрон уже приняла обычную оборонительную позу: подушка закрывает голову, и видны только кремовый изгиб плеча, кружевная бретелька ночной рубашки да пушистая прядка светлых волос.

Он идет в ванную, закрывает за собой дверь, сбрасывает пижамные штаны, в которых спит, в корзину для грязного белья, включает электробритву. Водя ею по лицу, он думает: «А чего бы вам, ребята, не пройтись по всем органам чувств, если уж вы на этом зациклились? Чуешь ли ты, что чую я, вкусно ль тебе то, что вкусно мне, осязаешь ли, что осязаю я, — валяйте!

— Вранье, — говорит он. — Все вранье.

Двадцать минут спустя, пока он одевается (сегодня утром темно-серый костюм от Пола Стюарта плюс модный галстук), Шэрон более или менее просыпается, но не настолько, чтобы он толком понял, о чем она бормочет.

— Повтори-ка, — просит он. — Яичный коктейль я уловил, а дальше одно бу-бу-бу.

— Я спросила, не купишь ли ты две кварты яичного коктейля по дороге домой, — говорит она. — Вечером будут Оллены и Дабреи, ты не забыл?

— Рождество, — говорит он, рассматривая в зеркале свои волосы. Он уже не тот растрепанный, ошалелый мужчина, который просыпается под музыку утром пять раз в неделю — иногда шесть. Теперь он выглядит точно так же, как все те, кто, как и он, поедут в Нью-Йорк поездом семь сорок. Именно этого ему и надо.

— Ну, и что Рождество? — спрашивает она с сонной улыбкой. — Все вранье?

— Верно, — соглашается он.

— Если вспомнишь, купи еще и корицы...

— Ладно.

— ..но если ты забудешь про коктейль, я тебя убью, Билл!

— Не забуду.

— Знаю. Ты очень надежный. И выглядишь мило.

— Спасибо.

Она снова хлопается на подушку, а потом приподнимается на локте, как раз когда он чуть-чуть поправляет галстук, цвет которого — синий. Ни разу в жизни он не надевал красного галстука и надеется сойти в могилу, так и не поддавшись этому вирусу.

— Я купила тебе канитель, — говорит она.

— М-м-м-м-м?

— Ка-ни-тель, — говорит она. — В кухне на столе.

— А! — вспоминает он. — Спасибо.

— Угу. — Она уже легла и начинает задремывать. Он не завидует тому, что она может спать до девяти... черт, до одиннадцати, если захочет, но ее способности проснуться, поговорить и снова уснуть он завидует. В зарослях он тоже так умел, как и почти все ребята, но заросли были давно. «В сельской местности», — говорили новички и корреспонденты; а для тех, кто уже пробыл там какое-то время, — заросли или иногда — зелень.

В зелени, вот-вот.

Она говорит что-то еще, но это уже опять бу-бу-бу. Но он все равно понимает: удачного дня, родной.

— Спасибо, — говорит он, чмокая ее в щеку. — Обязательно.

— Выглядишь очень мило, — бормочет она снова, хотя глаза у нее закрыты. — Люблю тебя, Билл.

— И я тебя люблю, — говорит он и выходит. Его дипломат — Марк Кросс, не самое оно, но почти — стоит в передней у вешалки с его пальто (от Тагера на Мэдисон). Он на ходу хватает дипломат и идет с ним на кухню. Кофе готов — Господи, благослови мистера Кофе, — и он наливает себе чашку. Открывает дипломат, совершенно пустой — и берет с кухонного стола клубок канители. Несколько секунд вертит в пальцах, глядя, как он сверкает в свете флюоресцентных кухонных плафончиков, потом кладет в дипломат.

— Слышишь ли ты, что слышу я, — говорит он в никуда и защелкивает дипломат.

8:15 УТРА

За грязным стеклом окна слева от него ему виден приближающийся город. Сквозь копоть на стекле город выглядит гигантскими мерзкими развалинами — может, погибшая Атлантида, только что извлеченная на поверхность под свирепым серым небом, В глотке дня застрял большой груз снега, но это не слишком его тревожит: до Рождества всего восемь дней, и дело пойдет отлично.

Вагон поезда пропах утренним кофе, утренним дезодорантом, утренним лосьоном для бритья и утренними желудками. Почти на каждом сиденье — галстук, теперь их носят даже некоторые женщины. На лицах утренняя припухлость, глаза и обращены внутрь, и беззащитны, разговоры вялые. Это час, когда даже трезвенники выглядят, будто с похмелья. Почти все пассажиры уткнулись в свои газеты. А что? Рейган — король Америки, ценные бумаги и акции обернулись золотом, смертная казнь снова в моде. Жизнь хороша.

Перед ним тоже развернут кроссворд «Тайме», и хотя он заполнил несколько клеток, это, в сущности, средство обороны. Ему не нравится разговаривать с людьми в поездах, не нравятся пустые разговоры, и меньше всего ему требуется постоянный приятель-попутчик. Когда он начинает замечать знакомые лица в каком-то конкретном вагоне, когда другие пассажиры по пути к свободному месту начинают кивать ему или говорить «ну, как вы сегодня?», он меняет вагоны. Не так сложно оставаться неизвестным — просто еще одним ежедневным пассажиром из коннектикутского пригорода, человеком, примечательным только своим твердокаменным отказом носить красные галстуки. Может, когда-то он был учеником приходской школы, может, когда-то он держал плачущую девочку, а один из его друзей бил ее бейсбольной битой, и может, когда-то он проводил время в зелени. Никому в поезде этого знать не требуется. У поездов этого не отнимешь.

— Ну как, готовы к Рождеству? — спрашивает сосед на сиденье у прохода.

Он поднимает голову, почти хмурясь, но решает, что за этими словами не стоит ничего — просто толчение воды в ступе, в котором у некоторых людей есть потребность. Его сосед — толстяк, и к середине дня начнет вонять, сколько бы дезодоранта он утром ни употребил... но он даже не смотрит на Билла, так что все в порядке.

— Да ну, сами знаете, как бывает, — говорит он, глядя на дипломат, зажатый у него между ногами, — дипломат, хранящий клубок канители и ничего больше. — Мало-помалу проникаешься духом.

8:40 УТРА

Он выходит из Центрального вокзала с тысячей других мужчин и женщин в пальто — по большей части администраторы средней руки, гладенькие бурундучки, которые к полудню уже будут усердно вертеться в своих колесах. На мгновение он останавливается, глубоко вдыхая холодный серый воздух. Лексингтон-авеню оделась в гирлянды разноцветных лампочек, а неподалеку Санта-Клаус, похожий на пуэрториканца, звонит в колокольчик. Рядом с ним котелок для пожертвований и мольберт с надписью: «ПОМОГИТЕ НА РОЖДЕСТВО БЕЗДОМНЫМ», и человек в синем галстуке думает: «А как насчет капельки правды в призывах, Санта? Как насчет надписи «ПОМОГИТЕ МНЕ С КОКАИНЧИКОМ НА РОЖДЕСТВО»? Тем не менее, проходя мимо, он бросает в котелок пару долларов. У него наилучшие предчувствия на этот день. Хорошо, что Шэрон напомнила ему о канители — а то бы он, пожалуй, забыл ее захватить; он ведь всегда забывает такие вот заключительные штрихи.

Десять минут пешком — и он подходит к своему зданию. У двери снаружи стоит черный паренек лет семнадцати в черных джинсах и грязной красной куртке с капюшоном. Переминается с ноги на ногу, выдыхает облачка пара, часто улыбается, показывая золотой зуб. В одной руке он держит помятый бумажный стаканчик из-под кофе. В стаканчике мелочь, и он ею побрякивает.

— Не найдется поспособствовать? — спрашивает он людей, устремляющихся мимо к вращающимся дверям. — Не найдется поспособствовать, сэр? Не найдется поспособствовать, мэм? На поесть собираю. Спасибо, Господислави, счастливого Рождества вам. Не найдется поспособствовать, друг? Может, четвертачок? Спасибо. Не найдется поспособствовать, мэм?

Проходя, Билл роняет в стаканчик пятицентовик и два десятицентовика.

— Спасибо, сэр, Господислави, счастливого Рождества.

— И тебе того же, — говорит он. Женщина, идущая позади него, хмурится.

— Зря вы их поощряете, — говорит она. Он пожимает плечами и улыбается ей пристыженной улыбкой.

— Мне трудно кому-то отказывать на Рождество, — говорит он ей.

Он входит в вестибюль в потоке других людей, бросает взгляд вслед самодовольной стерве, которая свернула к газетному киоску, потом направляется к лифтам с их старомодными указателями этажей и кудрявыми номерами. Тут несколько человек кивают ему, и он обменивается парой-другой слов с двумя из них, пока они вместе ждут лифта — это же все-таки не поезд, где можно пересесть в другой вагон. К тому же здание не из новых, и лифты еле ползут, поскрипывая.

— Как супруга, Билл? — спрашивает тощий, непрерывно ухмыляющийся замухрышка с пятого этажа.

— Кэрол? Прекрасно.

— Детишки?

— Оба лучше некуда.

Детей у него нет, а его жену зовут не Кэрол. Его жена, прежде Шэрон Энн Донахью, школа прихода Сент-Габриэля, выпуск 1964 года, но вот этого тощий, непрерывно ухмыляющийся типчик не узнает никогда.

— Уж конечно, ждут не дождутся праздника, — говорит замухрышка, его ухмылка ширится, становится чем-то совсем уж непотребным. Биллу Ширмену он кажется изображением Смерти, какой ее видят газетные карикатуристы: одни только проваленные глаза, крупные зубы и туго натянутая глянцевитая кожа. Ухмылка эта заставляет его вспомнить Там-Бой в долине А-Шау. Ребята из второго батальона двинулись туда, будто властелины мира, а вернулись, будто обожженные беженцы из ада. Вернулись с такими вот проваленными глазами и крупными зубами. Они все еще выглядели так в Донг-Ха, где несколько дней спустя все они вроде как перемешались. В зарослях очень часто вот так перемешивались. А еще тряслись и спекались.

— Да, просто изнывают, — соглашается он, — но, по-моему, Сара начинает что-то подозревать о парне в красной шубе. — А мысленно он подгоняет лифт, еле ползущий вниз. «Господи, избавь меня от этой дурацкой жвачки», — думает он.

— Да-да, бывает, — говорит замухрышка. Его ухмылка угасает на секунду-другую, будто говорят они о раке, а не о Санта-Клаусе. — Сколько теперь Саре?

— Восемь.

— А ощущение такое, будто она родилась год, ну два назад. Да, когда живется весело, время так и летит, верно?

— Скажите еще раз и опять не ошибетесь, — говорит он, отчаянно надеясь, что тощий этого еще раз не скажет. Тут наконец расползаются двери одного из лифтов, и они толпой входят в него.

\* \* \*

Билл и замухрышка проходят рядом начало коридора пятого этажа, а затем тощий останавливается перед старомодными двойными дверями со словами «ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ» на одном из матовых стекол и «ДИСПАН-ШЕРЫ АМЕРИКИ» на другом. Из-за этих дверей доносится приглушенный стрекот клавиш и чуть более громкие звонки телефонов.

— Желаю удачного дня, Билл.

— И вам того же.

Замухрышка открывает дверь в свою контору, и на миг взгляду Билла открывается вид на большой венок на противоположной стене. А на окнах — снежинки из пульверизаторов. Он содрогается и думает: «Господи, спаси нас всех...»

9:05 УТРА

Его контора — одна из двух, которые он снимает в этом здании — в дальнем конце коридора. Два темных помещения рядом пустуют уже полгода, что вполне его устраивает. На матовом стекле его двери надпись: «Специалисты по разведке земель Западных штатов». На двери — три замка. Один, который был на ней с самого начала, плюс два, которые он поставил сам. Он отпирает их, входит, закрывает за собой дверь, защелкивает один замок, затем запирает второй.

В центре комнаты стоит стол, и он завален бумагами, но среди них нет ни единой что-то значащей; просто камуфляж для уборщиц. Систематически он выбрасывает одни и заменяет их другими. На середине стола — телефон, по которому он иногда звонит, чтобы телефонная компания не выключила его как бездействующий. В прошлом году он приобрел ксерокс, который выглядит очень солидно в углу у двери, ведущей во вторую комнату поменьше. Но в употреблении он не был ни разу.

— Слышишь ли ты, что слышу я, чуешь ли ты, что чую я, вкусно ль тебе то, что вкусно мне, — напевает он и проходит к двери, ведущей во вторую комнату. Внутри полки с кипами таких же бессмысленных бумаг, два картотечных шкафа (на одном стоит «Уолкман» — его извинения на те редкие случаи, когда кто-то стучит в запертую дверь и никто не отзывается), кресло и стремянка.

Билл уносит стремянку в большую комнату и устанавливает ее слева от стола. Он кладет на нес дипломат, а потом поднимается на три ступеньки, протягивает руки над головой (полы пальто раздуваются колоколом вокруг его ног), осторожно отодвигает одну из потолочных панелей. Теперь над ним темное пространство, вдоль которого тянутся несколько труб и кабелей. Пыли там нет — во всяком случае, у краев, нет и мышиного помета — раз в месяц он закладывает туда средство от мышей. Само собой, шастая туда-сюда, он хочет сохранять свою одежду в приличном виде, но не это главное. Главное — уважение к своей работе и к сфере своей деятельности. Этому он научился в армии, во время своего срока в зелени, и порой он думает, что это вторая по важности вещь из всего, чему он научился в жизни. Самое же важное: только епитимья заменяет исповедь, и только покаяние определяет личность. Этот урок он начал учить в 1960 году, когда ему было четырнадцать. И это был последний год, когда он мог войти в исповедальню и сказать:

«Благослови, отче, ибо я согрешил», а потом рассказать все.

Покаяние очень важно для него.

«Господислави, — думает он в затхлой темноте. — Господислави вас, Господислави меня, Господислави каждого из нас».

Над этим узким пространством (там бесконечно посвистывает призрачный ласковый ветерок, принося с собой запах пыли и постанывание лифтов) нависает пол шестого этажа, и в нем квадратный люк со сторонами примерно дюймов тридцать. Билл сделал его сам. Он мастер на все руки, что Шэрон особенно в нем ценит.

Он откидывает крышку люка, впуская сверху слабый свет, затем хватает дипломат за ручку. Когда он всовывает голову в пространство между этажами, по стояку футах в двадцати — тридцати к северу от его позиции с шумом проносится вода. Через час, когда повсюду в здании люди начнут делать перерывы для кофе, звук этот станет таким же нескончаемым и ритмичным, как волны, накатывающиеся на пляж. Билл практически его не замечает, как и прочие межэтажные звуки. Он давно к ним привык.

Он осторожно забирается на верх стремянки, затем подтягивается в свою контору на шестом этаже, оставляя Билла на пятом. Здесь, на шестом, он снова Уилли, как в школе. Как во Вьетнаме, где его иногда называли «Уилли Бейсбол».

Эта верхняя контора выглядит как солидная мастерская: на металлических полках аккуратно положены и поставлены мотки проводов, моторы и вентиляторы, а на письменном столе на углу примостился какой-то фильтр. Тем не менее это все-таки контора: пишущая машинка, диктофон, плетенка для «входящих и исходящих» бумаг, причем полная (тоже камуфляж, и время от времени он меняет их местами — так сказать, его севооборот), и картотечные шкафы. Очень много картотечных шкафов.

На одной стене картина Нормана Рокуэлла: семья молится перед обедом в День Благодарения. Позади стола в рамке большая фотография Уилли в новенькой форме лейтенанта (снята в Сайгоне незадолго до того, как он получил свою Серебряную Звезду за действия на месте падения вертолетов в Донг-Ха), а рядом — увеличенный снимок его демобилизационного удостоверения с хорошей аттестацией. В удостоверении он значится как Уильям Ширмен, и все его отличия перечислены, как положено... Он спас жизнь Салливана на тропе за той деревней. Так сказано в документе о его награждении Серебряной Звездой, так сказали те, кто пережил Донг-Ха. И, что важнее этих двух утверждений, так сказал сам Салливан. Это было первое, что он сказал, когда оба они оказались вместе в Сан-Франциско, в госпитале, известном как «Дворец Кисок»: «Ты спас мне жизнь, друг». Уилли, сидящий на кровати Салливана, Уилли с одной рукой все еще на перевязи и с мазью вокруг глаз, но, по сути, уже вполне в порядке — он ходячий, а тяжело ранен был Салливан. В тот день фотокорреспондент АП сфотографировал их, и это фото появилось в газетах по всей стране... включая харвичский «Джорнэл».

«Он взял меня за руку», — думает Уилли у себя в конторе на шестом этаже, теперь, когда Билл Ширмен остался на пятом. Над его фотографией и демобилизационным удостоверением висит плакат шестидесятых годов. Он не вставлен в рамку и пожелтел по краям, а изображен на нем знак мира. А под ним красно-бело-синяя подпись, бьющая в самую точку: «СЛЕД ВЕЛИКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ КУРИЦЫ».

«Он взял меня за руку», — думает он снова. Да, Салливан взял его руку, и Уилли чуть было не вскочил, не кинулся через палату с воплем. Он был абсолютно уверен, что Салливан скажет: «Я знаю, что вы сделали, ты и твои дружки Дулин и О'Мира. Ты думал, она мне не расскажет?»

Но ничего подобного Салливан не сказал. А сказал он вот что: «Ты спас мне жизнь, старый друг из нашего родного города, ты спас мне жизнь. Только, бля, подумать! А мы-то так боялись сентгабцев!» Когда он это сказал, Уилли полностью убедился, что Салливан понятия не имеет, что Дулин, О'Мира и он сделали с Кэрол Гербер. Однако мысль, что он в полной безопасности, никакого облегчения не принесла. Ни малейшего. И пока он улыбался, пожимая руку Салливана, он думал: «И правильно делали, что боялись, Салл. Правильно, что боялись».

Уилли кладет дипломат Билла на стол, потом ложится на живот. Он засовывает голову и руки в сквозящую, пахнущую машинным маслом темноту между этажами и задвигает на место панель в потолке конторы пятого этажа. Контора крепко заперта; да он никого и не ждет (и теперь и всегда «Разведка земель Западных штатов» обходится без заказчиков), но лучше обезопаситься. Всегда лучше обезопаситься, чем потом жалеть.

Покончив с конторой на пятом этаже, Уилли опускает крышку люка на шестом. Тут люк укрыт ковриком, приклеенным к паркету, так что он не хлопает и не соскальзывает.

Уилли поднимается на ноги, стряхивает пыль с ладоней, потом поворачивается к дипломату и открывает его. Вынимает моток канители и кладет на диктофон, который стоит на столе.

— Отлично, — говорит он и снова думает, что Шэрон может быть настоящей лапушкой, когда хочет... а хочет она часто. Он защелкивает дипломат и начинает раздеваться, аккуратно и методично, точно повторяя все, что делал в шесть тридцать, только в обратном порядке — пустив кинопленку назад. Снимает все, даже трусы и черные носки по колено. Оголившись, он аккуратно вешает пальто, пиджак и рубашку в стенной шкаф, где висит только одна вещь — тяжелая красная куртка, недостаточно толстая для парки. Под ней — что-то вроде чемоданчика, несуразно громоздкого в сравнении с дипломатом. Уилли ставит рядом с ним свой дипломат Марка Кросса, затем помещает брюки в зажим, старательно оберегая складки. Галстук отправляется на вешалочку, привинченную с внутренней стороны дверцы, и повисает там в гордом одиночестве, будто высунутый синий язык.

Босыми подошвами он шлепает к одному из картотечных шкафов. Наверху стоит пепельница, украшенная хмурого вида орлом и словами «ЕСЛИ Я ПАДУ В БОЮ». В пепельнице — цепочка с парой опознавательных знаков. Уилли надевает цепочку через голову и выдвигает нижний ящик. Поверх всего — аккуратно сложенные боксерские шорты цвета хаки. Он надевает их. Затем белые спортивные носки, а за ними — белая хлопчатобумажная майка, закрытая у горла, а не на бретельках. Под ней четко видные опознавательные знаки на его груди, а также его бицепсы и трицепсы. Они не такие внушительные, какими были в А-Шау и Донг-Ха, но и не так уж плохи для мужчины под сорок.

Теперь, перед тем как он полностью оденется, наступает время покаяния, наложенной на себя епитимьи.

Он идет к другому картотечному шкафу и выдвигает другой ящик. Его пальцы быстро перебирают тетради в твердых обложках, сначала за конец 1982 года, а потом и за этот: январь — апрель, май — июнь, июль, август (летом он всегда чувствует, что обязан писать больше), сентябрь — октябрь и, наконец, последняя тетрадь — ноябрь — декабрь. Он садится за стол, быстро пролистывает густо исписанные страницы. В записях есть небольшие различия, но смысл у всех один: «я сожалею от всего сердца».

В это утро он пишет всего десять минут или около того, придерживаясь сути: «Я сожалею от всего сердца». По его прикидке он написал так более двух миллионов раз... а это еще только начало. Исповедь отняла бы куда меньше времени, но он предпочитает этот долгий окольный путь.

Он кончает... нет, он не кончает, а только прерывает на этот день — и всовывает тетрадь между уже исписанными и чистыми, ждущими своей очереди. Затем возвращается к картотечным шкафам, заменяющим ему комод. Выдвигая ящик над носками, он начинает напевать вполголоса — не «Слышишь ли ты, что слышу я», но «Двери» — про то, как день уничтожает ночь, а ночь разделяет день.

Он надевает простую синюю рубашку, потом брюки от полевой формы. Задвигает средний ящик и выдвигает верхний. Там лежат альбом и пара сапог. Он берет альбом и несколько секунд смотрит на его красный кожаный переплет. Осыпающимися золотыми буквами на нем вытеснено «ВОСПОМИНАНИЯ». Он дешевый, этот альбом. Ему по карману был бы и более дорогой, но у вас не всегда есть право на то, что вам по карману.

Летом он пишет много больше «сожалею», но воспоминания словно бы спят. А вот зимой и, особенно ближе к Рождеству, воспоминания пробуждаются. И тогда его тянет заглянуть в альбом, полный газетных вырезок и фото, на которых все выглядят немыслимо молодыми.

Нынче он убирает альбом назад в ящик, не открывая, и вынимает сапоги. Они начищены до блеска, и вид у них такой, будто они могут дотянуть до трубы, возвещающей Судный День. А то и подольше. Они не простые армейские, ну нет, не эти. Эти — десантные, 101-й воздушно-десантной. Ну и пусть. Он же вовсе не старается одеться пехотинцем. Если бы он хотел одеться пехотинцем, так оделся бы.

Однако оснований выглядеть неряшливо у него не больше, чем позволить пыли накапливаться в люке между этажами, и он привык одеваться тщательно. Штанины в сапоги он, само собой, не заправляет — он же направляется на Пятую авеню в декабре, а не в дельту Меконга в августе: о змеях и клещах можно не заботиться, — но он намерен выглядеть как следует. Выглядеть хорошо ему важно не менее, чем Биллу, а может, и поважнее. В конце-то концов уважение к своей работе и сфере своей деятельности начинается с самоуважения.

Последние два аксессуара хранятся в глубине верхнего ящика: тюбик с гримом и баночка с гелем для волос. Он выдавливает колбаску грима на ладонь левой руки и начинает наносить его на лицо — ото лба до шеи. С уверенной быстротой долгого опыта он придает себе умеренный загар. А кончив, втирает немного геля в волосы, а потом расчесывает их, убирая пробор — прямо ото лба к затылку. Это последний штрих, мельчайший штрих и, быть может, самый выразительный штрих. От солидного бизнесмена, который вышел из Центрального вокзала час назад, не осталось ничего. Человек в зеркале, привинченном к обратной стороне двери небольшого чулана, выглядит как выброшенный из жизни наемник. В загорелом лице прячется безмолвная, чуть смирившаяся гордость — что-то такое, на что люди долго не смотрят. Иначе им становится больно. Уилли знает, что это так — наблюдал не раз. Он не спрашивает, в чем причина. Он создал себе жизнь, особо вопросами не задаваясь, и предпочитает обходиться без них.

— Порядок, — говорит он, закрывая дверь в чулан. — Выглядишь, боец, лучше некуда.

Он возвращается к стенному шкафу за красной курткой двустороннего типа и за несуразным чемоданчиком. Куртку он пока накидывает на спинку кресла перед столом, а чемоданчик кладет на стол. Отпирает его и откидывает крышку на крепких петлях. Теперь чемоданчик обретает сходство с теми, в которых уличные торговцы выставляют свои штампованные часы и цепочки сомнительного золота. В чемоданчике Уилли вещей немного, и одна разделена пополам, чтобы в нем уместиться. Еще картонка с надписью. Еще пара перчаток, какие носят в холодную погоду, — и еще перчатка, которую он прежде носил, когда было тепло. Он вынимает пару (нынче они ему понадобятся, тут сомнений нет), а потом картонку на крепком шнуре. Шнур продернут в картонку через две дырки по бокам, так что Уилли может повесить ее на шею. Он закрывает чемоданчик, не трудясь защелкнуть, и кладет картонку на него — стол так захламлен, что это — единственная ровная поверхность, на которой можно работать.

Напевая (тут мы были нашим наслажденьям рады, там свои выкапывали клады), он выдвигает широкий ящик над пространством между тумбами, шарит среди канцелярских карандашей, медицинских карандашей, скрепок и блокнотиков, пока не находит степлер. Тогда он разматывает канитель, аккуратно накладывает ее по краям картонки, отрезает лишнее и крепко пришпиливает сверкающее серебро к картону. Он поднимает картонку, сначала чтобы оценить результат, а потом полюбоваться эффектом.

— То, что требовалось, — говорит он.

Звенит телефон, и он весь подбирается, оборачивается и смотрит на аппарат глазами, которые внезапно стали очень маленькими, жесткими и предельно настороженными. Один звонок. Второй. Третий. На четвертом включается автоответчик, отвечая его голосом — во всяком случае, тем его голосом, который закреплен за этой конторой.

— Привет, вы звоните в «Межгородской обогрев и охлаждение», — говорит Уилли Ширмен. — Сейчас ответить на ваш звонок некому, а потому оставьте ваше сообщение после сигнала.

Би-и-и-ип, — пищит сигнал.

Он напряженно слушает, стоя над своей украшенной канителью картонкой, стискивая кулаки.

— Привет, говорит Эд из «Желтых страниц» компании «Нинекс», — сообщает голос из автоответчика, и Уилли переводит дух, даже не заметив, что все это время не дышал. Кулаки начинают разжиматься. — Пожалуйста, пусть ваш представитель позвонит мне по номеру один-восемьсот-пятьсот пятьдесят пять касательно информации о том, как вы можете увеличить объем вашей рекламы в обоих вариантах «Желтых страниц», одновременно сэкономив большие деньги на ежегодной оплате. Счастливых праздников всем. Спасибо.

Трык.

Уилли еще секунду-две смотрит на автоответчик, словно ожидая, что он снова заговорит — будет угрожать ему, может быть, обвинит его во всех преступлениях, в которых он обвиняет себя, — но ничего не происходит.

— Порядок, — бормочет он, убирая украшенную канителью картонку назад в чемоданчик, закрывает его и на этот раз защелкивает. Спереди чемоданчик пересекает наклейка с надписью, окаймленной американскими флажками: «Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СЛУЖИЛ», — гласит она.

— Порядок, беби, поверь, тебе же будет лучше. Он выходит из конторы, закрывает дверь. «МЕЖГОРОДСКОЙ ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ» сообщает матовое стекло у него за спиной. Он запирает все три замка.

9:45 УТРА

На полпути по коридору он видит Ральфа Уильямсона, одного из пузатеньких бухгалтеров из «Финансового планирования Гаровича» (насколько приходилось видеть Уилли, все бухгалтеры Гаровича — пузатенькие). В одной розовой руке Ральфа зажат ключ с деревянной пластинкой на цепочке, из чего Уилли делает вывод, что смотрит на бухгалтера, которому требуется помочиться. Ключ на деревяшке! Если хренов ключ на хреновой деревяшке не заставит тебя вспомнить радости приходской школы, вспомнить всех этих монашек с волосатыми подбородками и все эти деревянные линейки, лупящие по пальцам, так уж ничто не заставит. И знаешь что? Скорее всего Ральфу Уильямсону нравится этот ключ на деревяшке, как и мыло в виде кролика на веревочке, как и клоун, который болтается с крана горячей воды в его ванной дома. Ну и что? Не судите, не то, бля, судимы будете.

— Эй, Ральфи, как делишки?

Ральф оборачивается, видит Уилли, веселеет.

— Э-эй, привет! Счастливого Рождества!

Уилли ухмыляется на выражение глаз Ральфа. Мудила-пузанчик его обожает, ну и что? Ральф же видит парня в таком порядке, что скулы сводит. Это тебе должно нравиться, деточка, должно!

— И тебе, братишка. — Он протягивает руку (на ней перчатка, и он может не думать о том, что рука заметно светлее лица) ладонью вверх. — Давай пять!

Ральф застенчиво улыбается и кладет руку на ладонь.

— Давай десять!

Ральф поворачивает пухлую розовую ладонь, и Уилли хлопает по ней.

— До чего здорово! Надо повторить! — восклицает Уилли и дает Ральфу еще пять. — Кончил с рождественскими покупками, а, Ральфи?

— Почти, — говорит Ральф, ухмыляясь и побрякивая ключом о деревяшку. — Угу, почти. А ты, Уилли? Уилли подмигивает ему.

— Знаешь, как это бывает, братишка. У меня баб две-три, и я позволяю каждой купить мне сувенирчик.

Восхищенная улыбка Ральфа намекает, что вообще-то он не знает, но очень бы хотел узнать.

— Вызвали куда-то?

— На весь день. Сейчас же самый сезон, понимаешь?

— Так у тебя вроде бы круглый год сезон. Дела, наверное, идут хорошо. Тебя же днями в конторе не бывает.

— Потому-то Бог и ниспослал нам автоответчики, Ральфи. А ты иди-иди, не то придется повозиться с мокрым пятном на лучших твоих габардиновых брюках.

Смеясь (и немножко краснея), Ральф направляется к мужскому туалету.

Уилли идет к лифтам, одной рукой сжимая ручку чемоданчика, другой проверяя очки в кармане пиджака — там ли они?

Они там. Там и конверт, тугой, шуршащий двадцатидолларовыми купюрами. Их пятнадцать. Подошло время полицейскому Уилоку навестить его. Собственно, Уилли ждал Уилока еще вчера. Может, он не покажет носа до завтра, но Уилли не сомневается, что увидит его сегодня... не то чтобы Уилли так уж это радовало. Он знает, что так устроен мир: колеса надо смазывать, если хочешь, чтобы твой фургон продолжал двигаться, но все равно затаивает злость. Частенько выпадают дни, когда он с наслаждением пустил бы пулю в голову Джаспера Уилока. Именно так порой случалось в зелени. Так неминуемо случалось. Взять для примера хоть Мейлфанта. Мудака психованного с этими его прыщами и колодой карт.

Да-да, в зелени все было по-другому. В зелени иной раз приходилось поступать скверно, чтобы предотвратить что-то куда более скверное. Такое поведение показывает для начала, что ты оказался не в том месте, это само собой, но раз уж ты угодил в омут, так плыви. Он и его ребята из батальона Браво пробыли с ребятами батальона Дельта всего несколько дней, так что Уилли почти не пришлось иметь дело с Мейлфантом, но его пронзительный, скрежещущий голос забыть трудно, и он запомнил выкрики Мейлфанта, если во время его бесконечных «червей» кто-то пытался взять назад уже положенную карту: «Нетушки, мудила! Раз пойдено, значит, сыграно!»

Пусть Мейлфант был жопой из жоп, но тут он говорил верно. В жизни, как и в картах: раз пойдено, значит, сыграно.

Лифт не останавливается на пятом, но Уилли уже давно этого не опасается. Он много раз опускался в вестибюль с людьми, работающими на одном этаже с Биллом Шерманом — включая тощего замухрышку из «Всех видов страхования», — и они его не узнавали. Должны бы узнать, считал он, должны бы — но не узнавали. Прежде он думал, что дело в другой одежде и гриме, потом решил, что причина — волосы, но в глубине сердца знал, что это не объяснение. Даже их тупое безразличие к миру, в котором они живут, ничего не объяснило. Ведь он не так уж сильно изменялся — форменные брюки, десантные сапоги и немножко коричневого грима — это ведь не камуфляж. Он точно не знает, где искать объяснения, а потому по большей части отключает такие мысли. Этому приему, как и многим-многим другим, он научился во Вьетнаме.

Чернокожий паренек все еще стоит у входной двери (теперь он натянул на голову капюшон своей старой грязной куртки) и трясет перед Уилли смятым стаканчиком из-под кофе.

Он видит, что фраер с чемоданчиком ремонтника в одной руке улыбается, и потому его собственная улыбка ширится.

— Не найдется поспособствовать? — спрашивает он мистера Ремонтника. — Что скажешь, друг-приятель?

— Скажу, отваливай, блядь ленивая, — говорит ему Уилли, все еще улыбаясь. Паренек пятится, глядит на Уилли широко открытыми ошарашенными глазами. Но прежде чем он находит, что ответить, мистер Ремонтник уже прошел половину квартала и почти затерялся в предпраздничной толпе, сжимая рукой в перчатке большой несуразный чемоданчик.

10:00 УТРА

Он входит в отель «Уитмор», пересекает вестибюль и поднимается на эскалаторе на бельэтаж, где расположены общественные туалеты. Это единственный момент в распорядке дня, внушающий ему неуверенность, и он не знает почему. Во всяком случае, ничего ни разу не случалось ни до, ни во время, ни после его посещения туалетных комнат отелей (он поочередно использует для своих целей минимум двадцать отелей в этой части города). И тем не менее он убежден, что если он вляпается, то случится это в сральне отеля. Ибо то, что происходит там, это не преображение Билла Ширмена в Уилли Ширмена. Билл и Уилли — братья, может, даже близнецы, и переключение из одного в другого ощущается чистым и абсолютно нормальным. Однако заключительное преображение в рабочий день — из Уилли Ширмена в Слепого Уилли Гарфилда — всегда ощущается совсем по-другому. Что-то по-ночному темное, запретное, почти трансформация волка-оборотня. Пока все не завершено и он не окажется снова на улице, постукивая перед собой своей белой палкой, ему дано, наверное, ощущать то же, что ощущает змея, после того как сбросила старую кожу, а новая еще не затвердела, не стала привычной.

Он оглядывается и видит, что мужская уборная пуста, если не считать пары ног под дверью кабинки — второй в длинном ряду, — их тут десяток, не меньше. Мягкое покашливание, шелест газеты. «Ффффф» — благопристойного кратенького пердения в туалете дорогого отеля в центральном районе города.

Уилли проходит вдоль всего ряда до последней кабинки. Ставит чемоданчик на пол, запирает дверь на задвижку и снимает красную куртку, одновременно выворачивая ее наизнанку. Изнанка оливково-зеленая. Стоило вывернуть рукава — и она стала фронтовой курткой старого солдата. Шэрон — она и вправду бывает гениальной — купила материю на эту сторону его куртки в армейском магазине, а прежнюю подкладку выпорола, чтобы заменить на эту. Но сначала нашила знаки различия старшего лейтенанта, плюс черные полоски сукна там, где положено быть фамилии и номеру. Потом она выстирала куртку раз тридцать, не меньше. Теперь, конечно, знаки различия и нашивки исчезли, но места, где они были, ясно видны — ткань зеленее на рукавах и левой стороне груди, узор более четок, и любой ветеран должен сразу понять, что они означают.

Уилли вешает куртку на крючок, спускает брюки, садится, затем поднимает чемоданчик и кладет его на разведенные колени. Открывает, вынимает две половины палки и быстро их свинчивает. Ухватив ее снизу, он, не приподнимаясь, протягивает руку и зацепляет палку за крючок поверх куртки. Затем защелкивает чемоданчик, отрывает кусок бумаги от рулона, чтобы создать правильный звуковой эффект завершения дела (возможно, без всякой надобности, но всегда лучше обезопаситься, чем потом жалеть), и спускает воду.

Перед тем как покинуть кабинку, он достает очки из кармана куртки, в котором лежит и взятка. Они очень большие и темные — ретро и ассоциируются у него с лавовыми лампами и бешеными мотоциклистами из фильмов с Питером Фонда. Однако для дела они в самый раз: отчасти потому, что каким-то образом помогают людям узнать ветерана, а отчасти потому, что никто не может увидеть его глаза даже сбоку.

Уилли Ширмен остается в туалете на бельэтаже «Уитмора» точно так же, как Билл Ширмен остался на пятом этаже в конторе «Специалистов по разведке земель Западных штатов». Человек, который выходит из кабинки в старой полевой куртке, темных очках, чуть-чуть постукивая перед собой белой палкой, это Слепой Уилли, неизменная фигура на Пятой авеню со времен Джеральда Форда.

Проходя через небольшое фойе бельэтажа к лестнице (слепые никогда эскалаторами не пользуются), он видит идущую ему навстречу женщину в красном блейзере. Благодаря разделяющим их очень темным линзам она обретает сходство с экзотической рыбой, плывущей в темной от мути воде. Ну и, конечно, дело не в одних очках. К двум часам дня он на самом деле ослепнет, как он и кричал, когда его, Джона Салливана и Бог знает скольких еще раненых эвакуировали из провинции Донг-Ха тогда, в семидесятом. «Я ослеп! — вопил он, даже когда унес Салливана с тропы. Только не так уж чтобы совсем. Сквозь вибрирующую впечатавшуюся в глаза белизну он увидел, как Салливан катается по земле и пытается удержать в животе выпирающие наружу кишки. Он тогда поднял Салливана и побежал с ним, неуклюже перекинув его через плечо. Салливан был выше и шире, чем Уилли — намного выше и шире, и Уилли понятия не имел, как он мог тащить такую тяжесть, но вот тащил же всю дорогу до поляны, откуда Хьюи, будто Божья десница, вознесли их в небо: господислави вас, Хьюи, господислави, о господислави вас всех до единого. Он бежал к поляне и вертолетам, а рядом хлестали пули, и части сделанных в Америке тел валялись на тропе, где взорвалась мина, или самодельное взрывное устройство, или хрен его знает что.

«Я ослеп», — вопил он, таща Салливана, чувствуя, что кровь Салливана пропитывает его форму, и Салливан тоже вопил. Если бы Салливан перестал вопить, сбросил ли бы его Уилли с плеча, побежал ли бы дальше один, стараясь вырваться из засады? Скорее всего нет. Потому что тогда он уже знал, кем был Салливан, совершенно точно знал, кем он был. Он был Саллом из старого родного городка, Саллом, который гулял с Кэрол Гербер в старом родном городке.

«Я ослеп, я ослеп, я ослеп!» — вот что вопил Уилли Ширмен, пока волок Салливана, и правда, почти весь мир был взрывно-белым, но он и сейчас помнил, как пули просекали листву и стучали о древесные стволы; помнил, как один из ребят, который был в деревне, в начале дня, прижал ладонь к горлу. Помнил, как кровь струями забила между его пальцами, заливая форму. Кто-то другой из Дельты два-два — его звали Пейгано — ухватил этого поперек живота и потащил мимо шатающегося Уилли Ширмена, который действительно почти ничего не видел. И вопил «я ослеп, я ослеп, я ослеп», и вдыхал запах крови Салливана, ее вонь. А в вертолете эта белизна навалилась на него. Лицо было обожжено. Волосы спалило, кожа на голове была обожжена, а мир был белым. Он был опален и дымился — еще один вырвавшийся из частицы ада. Он думал, что больше никогда не будет видеть, и в этом почему-то крылось облегчение. Но, конечно, он стал видеть.

Со временем.

Женщина в красном блейзере поравнялась с ним.

— Вам помочь, сэр? — спрашивает она.

— Не надо, мэм, — говорит Слепой Уилли. Непрерывно движущаяся палка перестает стучать по полу и шарит над пустотой. Покачивается взад-вперед, определяя края ступенек. Слепой Уилли кивает, потом осторожно, но уверенно шагает вперед, пока не касается перил рукой с несуразным чемоданчиком. Он перекладывает чемоданчик в руку с палкой, чтобы взяться за перила, потом поворачивается к женщине. Он осмотрительно улыбается не прямо ей, а чуть влево. — Нет, благодарю вас, мне нетрудно. Счастливого Рождества.

Он начинает спускаться, постукивая палкой перед собой, легко удерживая чемоданчик вместе с палкой — он ведь легкий, почти пустой. Попозже, конечно, будет уже не так.

10:15 УТРА

Пятая авеню украшена к праздникам — блеск и сверкание, которые он видит еле-еле. Фонари увиты гирляндами остролиста. Большие магазины превратились в разноцветные коробки с рождественскими подарками — вплоть до гигантских красных бантов. Венок, не менее сорока футов в диаметре, красуется на солидно бежевом фасаде «Брукс бразерс». Всюду перемигиваются лампочки. В витрине «Сакса» модная манекенщица (надменное выражение «а пошел ты, Джек, на...», почти полное отсутствие грудей и бедер) сидит верхом на мотоцикле «Харли-Дэвидсон». На ней колпак Санты, мотоциклетная куртка с меховой опушкой, сапоги по колено и больше ничего. С руля мотоцикла свисают серебряные колокольчики, Где-то неподалеку праздничный хор поет «Тихую ночь» — не самое любимое произведение Слепого Уилли, но все-таки куда лучше, чем «Слышишь ли ты, что слышу я».

Он останавливается там, где останавливается всегда — перед собором св. Патрика через улицу от «Сакса», пропуская мимо себя потоки нагруженных пакетами покупателей. Его движения теперь просты и исполнены достоинства. Гнетущее чувство в мужском туалете — это ощущение нескладной наготы, которая вот-вот будет выставлена на всеобщее обозрение, — прошло. Никогда он не чувствует себя таким истым католиком, как на этом месте.

Как-никак он был сентгабцем, носил крест, носил облачение, когда приходила его очередь прислуживать у алтаря, становился на колени в исповедальне, ел ненавистную треску по пятницам. Во многих отношениях он все еще сентгабец, все три его варианта носят в себе вот это общее — эту его часть, которая прошла через годы и осталась, как говорится, цела и невредима. Только нынче он не исповедуется, а приносит покаяние и утратил уверенность в том, что попадет на Небеса. Нынче он может лишь надеяться.

Он садится на корточки, отпирает чемоданчик и поворачивает его так, чтобы идущие от центра могли прочесть надпись. Затем вынимает третью перчатку, бейсбольную перчатку, которую хранит с лета 1960 года. Перчатку он кладет рядом с чемоданчиком. Ничто так не трогает сердца, как слепец с бейсбольной перчаткой, которую он нашел. Господислави Америку.

Последней — и тем более важной — он вынимает картонку, мужественно обрамленную канителью, и ныряет под шнур. Картонка замирает на его полевой куртке.

БЫВШИЙ УИЛЬЯМ Д. ГАРФИЛД, АРМИЯ США

СРАЖАЛСЯ КУАНГ-ТРИ, ТУА-ТЬЕН, ТАМ-БОЙ, А-ШАУ

ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ В ПРОВИНЦИИ ДОНГ-ХА, 1970

ГРАБИТЕЛЬСКИ ЛИШЕН КОМПЕНСАЦИЙ БЛАГОДАРНЫМ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, 1973

ЛИШИЛСЯ КРОВА, 1975

СТЫЖУСЬ ПРОСИТЬ МИЛОСТЫНЮ,

НО ИМЕЮ УЧАЩЕГОСЯ СЫНА

ПОЙМИТЕ МЕНЯ, ЕСЛИ МОЖЕТЕ

Он поднимает голову так, чтобы белый свет этого холодного нависающего снегом дня скользил по слепым выпуклостям его темных очков. Начинается работа, и она тяжелее, чем кто-нибудь может вообразить. Поза — не совсем военная по команде «вольно!» на параде, но похожая. Голову держать прямо, глядеть одновременно и на, и сквозь людей, снующих мимо тысячами и десятками тысяч. Руки в черных перчатках держать по швам, ни в коем случае не теребить ни картонку, ни ткань брюк и не переплетать пальцы. Он должен проецировать ощущение раненой усмиренной гордости. Чтобы не примешивалось ни ощущения пристыженное(tm), ни ощущения пристыживания. Он говорит, только если заговорят с ним и только если по-доброму. Он не отвечает людям, которые сердито спрашивают его, почему он не ищет приличной работы или что он имеет в виду, утверждая, что его лишили компенсаций. Он не возражает тем, кто обвиняет его в симуляции или презрительно отзывается о сыне, который позволяет отцу оплачивать его учение, попрошайничая на уличном углу. Насколько ему помнится, это железное правило он нарушил только раз — душным летом 1981 года. «Где, собственно, учится ваш сын?» — злобно спросила его какая-то женщина. Он не знает, как она выглядела, потому что шел пятый час и он уже по меньшей мере два часа был слеп как крот, но он чувствовал, как злоба разлетается из нее в разные стороны, будто клопы из старого матраса. Чем-то она напомнила ему Мейлфанта с его визгливым голосом, не слышать который было невозможно. «Скажите мне где, я хочу послать ему собачье говно». — «Не трудитесь, — сказал он, оборачиваясь на звук ее голоса. — Если у вас найдется лишнее собачье говно для посылки, так отправьте его ЛБД [Инициалы американского президента Линдона Бейнса Джонсона, 1908–1973.]. «Федсрал экспресс» наверняка доставляет почту в ад, как и в любое другое место».

— Господи, благослови вас, — говорит тип в кашемировом пальто, и его голос дрожит от удивительных эмоций. Но Слепого Уилли они не удивляют. Он ведь наслышался их всех и даже больше. Удивительное число его клиентов кладет деньги в карман бейсбольной перчатки бережно, с благоговением. Тип в кашемировом пальто бросает свою лепту в открытый чемоданчик, собственно, для того и предназначенный. Пятерка. Рабочий день начался.

10:45 УТРА

Пока все неплохо. Он осторожно кладет палку, опускается на колено и ссыпает содержимое перчатки в чемоданчик. Затем начинает водить ладонью по бумажкам, хотя пока еще неплохо их видит. Он собирает их в пачку — всего долларов четыреста — пятьсот, что ориентирует на трехтысячный день, не слишком удачно для этого времени года, но и не так уж плохо, — потом свертывает их трубочкой и надевает на них резинку. Потом нажимает кнопку внутри чемоданчика, и фальшивое дно поворачивается на пружине, сбрасывая груз мелочи на настоящее. Туда же он кладет и трубочку банкнот — совсем в открытую, однако без всяких опасений. За все эти годы его ни разу не попробовали ограбить. Спаси Бог того, кто попробует!

Он отпускает кнопку, фальшивое дно возвращается на место, а он встает. И тут же ему в крестец упирается ладонь.

— Счастливого Рождества, Уилли, — говорит обладатель ладони. Слепой Уилли узнает его по запаху одеколона, которым тот пользуется.

— Счастливого Рождества, офицер Уилок, — отвечает Уилли. Голова его остается слегка вопросительно повернутой, руки опущены по швам; ноги в начищенных до блеска сапогах раздвинуты не настолько широко, как подразумевает «вольно!» во время парада, но и не сдвинуты тесно по стойке «смирно!». — Как вы сегодня, сэр?

— Лучше некуда, мудак, — говорит Уилок. — Ты же меня знаешь: всегда лучше некуда.

Тут приближается мужчина в длинном пальто, распахнутом так, что виден ярко-красный лыжный свитер. Волосы короткие, черные на макушке, седые к вискам. Лицо суровое, будто вырезанное из камня. У него в руках пара пакетов — один «Сакса», другой «Балли». Останавливается, читает картонку.

— Донг-Ха? — внезапно спрашивает он и не как человек, называющий какое-то место, но словно узнавая старого знакомого на людной улице.

— Да, сэр, — говорит Слепой Уилли.

— Кто вами командовал?

— Капитан Боб Бриссем — с двумя «эс», а полком полковник Эндрю Шелф, сэр.

— Про Шелфа я слышал, — говорит мужчина в распахнутом пальто. Лицо у него вдруг изменяется. Пока он шел к слепому на углу, оно принадлежало Пятой авеню, но теперь уже не принадлежит ей. — Но лично его не встречал.

— К концу моего срока мы высоких чинов не видели, сэр.

— Если вы выбрались из долины А-Шау, я не удивляюсь. Ведь тут мы с одной страницы, солдат?

— Да, сэр. К тому времени, когда мы добрались до Донг-Ха, от командного состава мало что осталось. Я тогда контактировал главным образом с другим лейтенантом. Диффенбейкер его фамилия.

Мужчина в красном лыжном свитере медленно кивает.

— Если не путаю, вы, ребята, были там, когда рухнули вертолеты.

— Так точно, сэр.

— Так значит, вы были там и позднее, когда Слепой Уилли не договаривает за него. Но вот запах уилокского одеколона становится сильнее: Уилок только что не пыхтит ему в ухо от нетерпения, будто распалившийся юнец на исходе жаркого свидания. Уилок никогда ему не верил, и хотя Слепой Уилли платит за привилегию спокойно стоять на этом углу, и причем очень щедро по текущим расценкам, он знает, что Уилок сохраняет в себе достаточно полицейского, чтобы предвкушать, как он вляпается. Какая-то часть Уилока активно этого хочет. Только уилоки нашего мира не способны понять, что выглядеть подделкой еще не значит быть подделкой. Иногда ситуация много сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот и этому его научил Вьетнам в те годы, когда Вьетнам еще не превратился в политическую шутку и кормушку для сценаристов на ставке.

— Шестьдесят девятый и семидесятый были тяжелыми годами, — говорит седеющий мужчина. Говорит он неторопливым тяжелым голосом. — Я был на Гамбургере с три-сто восемьдесят седьмой, так что знаю и А-Шау, и Там-Бой. Вы помните дорогу девятьсот двадцать два?

— Да, сэр, да, Дорогу Славы, — говорит Слепой Уилли. — Я потерял там двоих друзей.

— Дорога Славы, — говорит мужчина в распахнутом пальто, и внезапно он старится на тысячу лет, и ярко-красный лыжный свитер теперь оскорбительно непристоен, будто какая-нибудь пакость, которую зацикленные ребятишки нацепили на музейную мумию, полагая, что демонстрируют тонкое чувство юмора. Его взгляд устремляется за тысячу горизонтов. Потом возвращается назад на эту улицу, и где-то близко карильон играет: «А я слышу колокольчики на санках динь-динь-динь, дзинь-дзинь-дзинь». Он ставит пакеты между дорогими ботинками и достает из внутреннего кармана бумажник свиной кожи. Открывает его, перебирает аккуратную толщу банкнот.

— С сыном все хорошо, Гарфилд? Оценки получает неплохие?

— Да, сэр.

— А сколько ему?

— Пятнадцать, сэр, — Муниципальная школа?

— Приходская, сэр.

— Превосходно! И дай Бог, он не увидит Дорогу е... ной Славы.

Человек в распахнутом пальто вынимает банкноту из бумажника. Слепой Уилли не только слышит, но и ощущает, как охнул Уилок, и ему не нужно даже смотреть на бумажку; он и так знает, что она сотенная.

— Так точно, сэр, дай Бог!

Мужчина в распахнутом пальто прикасается банкнотой к ладони Уилли и открывает глаза от удивления, когда рука в перчатке отдергивается, словно она обнажена и до нее дотронулись чем-то раскаленным.

— Положите ее в мой чемоданчик или бейсбольную перчатку, сэр, если вы так добры, — говорит Слепой Уилли.

Мужчина в пальто несколько секунд смотрит на него, подняв брови, слегка хмурясь, а потом словно бы понимает. Он нагибается, кладет банкноту в старый промасленный карман перчатки, на которой сбоку синими чернилами написано «ГАР-ФИЛД», потом сует руку в боковой карман и вынимает горсть мелочи. Ее он рассыпает по физиономии старины Бена Франклина, чтобы прижать банкноту. Потом выпрямляется. Глаза у него налиты слезами и кровью.

— Вы не против, если я дам вам визитку? — спрашивает он Слепого Уилли. — Я мог бы связать вас с кое-какими организациями ветеранов.

— Благодарю вас, сэр, но должен со всем уважением отказаться.

— Имели дело с большинством?

— Имел дело с кое-какими, сэр.

— Где ваш ВГ [Госпиталь для ветеранов.]?

— Сан-Франциско, сэр. — Он колеблется и добавляет:

— Дворец Кисок, сэр.

Мужчина в пальто от души хохочет, затем лицо его сморщивается, стоящие в глазах слезы стекают по выдубленным щекам.

— Дворец Кисок! — восклицает он, — Десять лет, как я этого не слышал! Судно под каждой кроватью и голенькая медсестра под каждым одеялом, так? Голенькая, если не считать бисерных бус любви, которые они не снимают.

— Да, сэр, примерно покрывает ситуацию.

— Или открывает. Счастливого Рождества, солдат. — Мужчина в пальто отдает честь одним пальцем.

— Счастливого Рождества вам, сэр.

Мужчина в пальто подхватывает свои пакеты и уходит. Он не оглядывается. А если бы оглянулся. Слепой Уилли этого не увидел бы, его глаза теперь различают только призраки и тени.

— До чего трогательно! — бормочет Уилок. (Пых-пых-пых воздуха из легких Уилока прямо в его ушную раковину вызывает у Слепого Уилли отвращение — даже омерзение, — но он не доставит удовольствие этой сволочи, отодвинувшись хотя бы на дюйм.) — Старый хрен по-настоящему всплакнул. Как ты, конечно, видел. Но вот болтать по-ветерански ты умеешь, Уилли. Этого у тебя не отнимешь. Уилли молчит.

— Ветеранский госпиталь под названием Дворец Кисок? — спрашивает Уилок. — Вроде бы местечко прямо для меня. Где ты его вычитал? В «Наемнике»?

Тень женщины, темный силуэт в меркнущем свете дня, наклоняется над открытым чемоданчиком и что-то опускает в него. Рука в перчатке прикасается к перчатке на руке Уилли в кратком пожатии.

— Господи, благослови вас, — говорит она.

— Благодарю вас, мэм.

Тень исчезает. Но не пых-пых-пых в ухе Слепого Уилли.

— У тебя есть что-нибудь для меня, приятель? — спрашивает Уилок.

Слепой Уилли опускает руку в карман куртки. Достает конверт и протягивает его. Конверт выдергивается из его пальцев со всей быстротой, на какую способен Уилок.

— Жопа! — В голосе полицейского не только злость, но и страх. — Сколько раз повторять, в руку давай, в руку!

Слепой Уилли ничего не говорит. Он думает о бейсбольной перчатке, о том, как стер «БОББИ ГАРФИЛД» — насколько вообще возможно стереть чернила с кожи — и на этом месте вывел имя Уилли Ширмена. Позднее, после Вьетнама, когда он начал свою новую карьеру, он стер чернила во второй раз и вывел печатными буквами одну фамилию «ГАРФИЛД». То место на старой перчатке модели Алвина Дарка, где производились эти перемены, выглядит истертым, почти дырявым. Если думать о перчатке, если сосредоточиться на этом истертом месте и наслоении имен на нем, он, возможно, сумеет не допустить никакой глупости. Ведь Уилок именно этого хочет, и хочет гораздо сильней, чем своей засранной взятки, — чтобы Уилли допустил бы какую-нибудь глупость, выдал бы себя.

— Сколько? — спрашивает Уилок после секундного молчания.

— Три сотни, — говорит Слепой Уилли. — Триста долларов, офицер Уилок.

Ответом служит взвешивающее молчание, но Уилок отступает на шаг от Слепого Уилли, и пых-пых-пых у него в ухе слабеют. Слепой Уилли благодарен и за такое облегчение.

— Ну ладно, — говорит наконец Уилок. — На этот раз. Но наступает новый год, приятель, и твой друг Джаспер, Краса Полиции, имеет участочек среди природы штата Нью-Йорк, на котором хотел бы построить хижинку. Доперло? Ставки в покере повышаются.

Слепой Уилли ничего не говорит, но слушает теперь очень, очень внимательно. Если это все, то все будет хорошо. Однако голос Уилока указывает, что это еще не все.

— Однако хижинка не так уж и важна, — продолжает Уилок. — А важно то, что мне требуется компенсация получше, раз уж я нянчусь с дерьмом вроде тебя. — В его голосе начинает звучать искренний гнев. — Как ты можешь заниматься этим каждый день, даже на РОЖДЕСТВО, не понимаю, хоть убей. Нищие — это одно, но чтобы тип вроде тебя... ты не больше слеп, чем я.

«Ну, ты куда больше слеп, чем я», — думает Слепой Уилли и по-прежнему молчит.

— У тебя ведь дела идут хорошо, верно? Ты должен набирать... сколько? Тысячу в день в это время года? Две тысячи?

Он здорово недотянул, но этот просчет звучит музыкой в ушах Слепого Уилли Гарфилда. Значит, его пассивный партнер следит за ним не слишком внимательно и не подолгу... во всяком случае, раньше. Но ему не нравится гнев в голосе Уилока. Гнев — как закрытая карта в покере.

— Ты не больше слеп, чем я, — повторяет Уилок. Видимо, именно это его особенно злит. — Знаешь что, приятель? Надо бы как-нибудь вечерком последить, куда ты пойдешь отсюда, а? Посмотреть, что ты станешь делать, — Он затягивает паузу. — В кого превратишься.

На миг Слепой Уилли по-настоящему перестает дышать... потом начинает снова.

— Не стоило бы, офицер Уилок, — говорит он.

— Не стоило бы, а? А почему, Уилли? Почему? Заботишься о моем благополучии, так, что ли? Опасаешься, что я прикончу жопу, которая несет золотые яйца? Так то, что я получаю от тебя за год, не так уж и много, если сопоставить с благодарностью в приказе, а то и с повышением. — Он умолкает. А когда снова начинает говорить, в его голосе появляется мечтательность, которая внушает Уилли особую тревогу. — Обо мне напечатали бы в «Пост». «ГЕРОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗОБЛИЧАЕТ ПРОХИНДЕЯ НА ПЯТОЙ АВЕНЮ».

«Черт, — думает Уилли, — черт, он вроде бы серьезно!»

— На твоей перчатке стоит «Гарфилд», да только Гарфилд не твоя фамилия, хоть об заклад побьюсь. Поставлю доллары против пышек.

— И проиграете.

— Это ты говоришь... а вот у твоей перчатки вид такой, будто на ней не одну фамилию писали.

— Ее украли, когда я был мальчишкой... — Он говорит лишнее? Трудно решить. Уилок сумел поймать его врасплох, сучья лапа. Сначала звонит телефон, когда он в конторе — старина Эд из «Нинекса», а теперь еще это. — Мальчишка, который спер ее у меня, написал на ней свою фамилию. А когда я получил ее обратно, то опять написал свою.

— И взял ее с собой во Вьетнам?

— Да.

И это правда. Если бы Салливан увидел эту старую перчатку модели Алвина Дарка, узнал бы он в ней перчатку своего старого приятеля Бобби? Маловероятно, но как знать? Только Салливан ее так и не увидел, во всяком случае, пока они были в зелени, а потому это пустой вопрос. А вот полицейский Джаспер Уилок задавал всякие вопросы, и ни один не был пустым.

— Взял с собой в эту самую долину Ачу, так? Слепой Уилли не отвечает. Уилок теперь старается загнать его в угол, но в какой бы угол Уилок его ни загонял, Уилли Гарфилд поостережется.

— Взял с собой в этот Томбой, а? Уилли ничего не говорит.

— «Пост», — говорит Уилок, и Уилли смутно различает, что мудак слегка разводит руки, будто заключает фотографию в рамку. — «ГЕРОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». — Возможно, он просто подначивает, но откуда Уилли знать?

— В «Пост» вы угодите, а вот благодарности в приказе никакой не будет, — говорит Уилли. — Не будет и повышения. Вернее сказать, вы будете гранить мостовую, офицер Уилок, в поисках работы. И в охранные агентства вам заходить не стоит — человека, бравшего взятки, туда не возьмут.

Теперь очередь Уилока перестать дышать. А когда он обретает дыхание, пых-пых-пых в ухе Уилли превращается в ураган: губы полицейского почти касаются его кожи.

— Это ты про что? — шепчет он. Ладонь ложится на плече полевой куртки Слепого Уилли. — Нет, ты скажи мне, какого хрена ты несешь?

Но Слепой Уилли продолжает молчать, руки опущены по швам, голова чуть приподнята, внимательный взгляд устремлен в темноту, которая рассеется только, когда свет дня почти угаснет, а на его лице то отсутствие всякого выражения, в котором многие прохожие видят сокрушенную гордость, мужество, почти сломленное, но все еще живое.

«Не стоит, офицер Уилок, — думает он. — Лед под вами совсем истончился. Может, я и слепой, но вы-то и вовсе глухой, если не слышите, как он трещит у вас под ногами».

Рука у него на плече слегка его встряхивает. Пальцы Уилока впиваются в его кожу.

— У тебя есть приятель, сукин ты сын? И потому завел чертову манеру совать конверт чуть не в открытую? Твой приятель меня снимает, так?

Слепой Уилли продолжает ничего не говорить; Джасперу, Красе Полиции, он теперь читает проповедь молчания. Люди вроде офицера Уилока всегда подозревают самое скверное, если им не мешать. Дать им время — и все.

— Ты со мной, хрен, в игрушки не играй, — говорит Уилок злобно, но в голосе его проскальзывает обертон тревоги, и рука на куртке Слепого Уилли разжимается. — С января переходим на четыре сотни в месяц, а если попробуешь со мной в игрушки играть, я тебе покажу настоящую игротеку. Понял?

Слепой Уилли не говорит ничего. Воздух перестает бить порывами ему в ухо, и он понимает, что Уилок собрался уйти от него. Но, увы, еще не совсем, потому что мерзкие пых-пых-пых возобновляются.

— Будешь гореть в аду за то, чем занимаешься, — говорит ему Уилок. И говорит он с величайшей, почти лихорадочной искренностью. — То, что делаю я, когда беру твои грязные деньги, это грех, но простительный — я спрашивал у падре, и это точно, — а вот твой грех, он смертный. Ты отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний ты там насобираешь.

Слепой Уилли думает о куртке, которую Уилли и Билл иногда видят на улице. На спине карта Вьетнама, и обычно годы, которые владелец куртки провел там, и еще вот такое заявление: «КОГДА УМРУ, Я ВОЗНЕСУСЬ ПРЯМО НА НЕБО, ПОТОМУ ЧТО Я УЖЕ ОТБЫЛ СВОЕ ВРЕМЯ В АДУ». Он мог бы передать эту весть полицейскому Уилоку, но толку никакого не будет. Молчание куда доходчивее.

Уилок удаляется, и мысль Уилли — что он рад этому, вызывает на его губах редкую улыбку. Она появляется и исчезает, как солнечный луч в пасмурный день.

1:40 ДНЯ

Три раза он свертывал купюры в рулончики и сбрасывал монеты с фальшивого дна на настоящее (это просто удобства ради, а не для того, чтобы их прятать) и теперь работает исключительно на ощупь. Он больше не видит денег, не отличает доллар от сотни, но чувствует, что день у него выдался на редкость удачный. Однако никакого удовольствия эта уверенность ему не доставляет. Он редко его испытывает — Слепой Уилли удовольствия не ищет, — но ощущение чего-то достигнутого, которое он испытал бы в другой день, подавлено разговором с полицейским Уилоком.

Без четверти двенадцать из «Сакса», как почти каждый день в это время, выходит молодая женщина с красивым голосом (Билли она напоминает Дайну Росс) — у нее в руке чашка горячего кофе для него. В четверть первого другая женщина — не такая молодая и, вероятно, белая — приносит ему чашку с исходящей паром куриной лапшой. Он благодарит их обеих. Белая чмокает его в щеку и желает ему счастливейшего счастливого Рождества.

Однако у дня есть и уравновешивающая изнанка, как случается почти всегда. Около часа подросток с невидимой компанией приятелей, хохочущих, острящих, дурачащихся вокруг него, сообщает Слепому Уилли из темноты слева от него, что он косорылый мудак, а потом спрашивает, не потому ли он в перчатках, что обжег пальцы, когда попробовал почитать горячую вафельницу. Он и его дружки убегают, завывая от смеха над этой бородатой шуточкой. Минут пятнадцать спустя кто-то пинает его ногой, хотя, быть может, и нечаянно. Всякий такой раз он наклоняется к чемоданчику, но чемоданчик на месте. Это город мошенников, грабителей и воров, но чемоданчик на месте, как всегда был на месте и прежде.

И пока происходит все это, он думает об Уилоке.

С полицейским, который был здесь до Уилока, затруднений не возникало; с тем, который будет тут, когда Уилок уйдет из полиции или его переведут в другой район, тоже, наверное, затруднений не возникнет. Рано или поздно Уилок слиняет, сгорит или подорвется: это он тоже узнал в зарослях, а пока Слепой Уилли должен гнуться, как тростинка на ветру. С той только разницей, что и самая гибкая тростинка ломается, если ветер очень сильный.

Уилок требует больше денег, но не это тревожит мужчину в темных очках и полевой куртке: рано или поздно они все требуют больше денег. Когда он только обосновался на этом углу, полицейскому Хэнретти он платил сотню с четвертью. Хэнретти был из тех, кто сам живет и другим жить дает, и от него веяло «Олд спайс» и виски, ну совсем как от Джорджа Реймера, участкового полицейского детства Уилли Ширмена. Однако перед тем, как уйти в отставку в 1978 году, покладистый Эрик Хэнретти брал со слепого Уилли по двести долларов в месяц. Соль была в том — усеките, братья мои, что Уилок утром исходил злобой, да, ЗЛОБОЙ, и Уилок сказал, что советовался с падре. Вот что его тревожит, однако больше всего он встревожен обещанием Уилока выследить его. «Посмотреть, что ты станешь делать. В кого превратишься. Гарфилд не твоя фамилия. Ставлю доллары против пышек».

«Большая ошибка лезть на истинно кающегося, офицер Уилок, — думает Уилли. — Лезть на мою жену и то было бы для вас безопаснее, чем трогать мою фамилию. Куда безопаснее».

И все-таки Уилок может выполнить свою угрозу. Что проще, чем выследить слепого или даже того, чьи глаза различают не только тени? Проще, чем выследить, как он зайдет в какой-нибудь отель и скроется в мужском туалете? Выследить, как он войдет в кабинку Слепым Уилли Гарфилдом, а выйдет Уилли Ширменом? А что, если Уилок сможет выследить его от Уилли до Билла?

Эти мысли возвращают его к утреннему паническому страху, к ощущениям змеи, сменившей кожу и еще не свыкшейся с новой. Опасения, что его засняли в момент получения взятки, поостудит Уилока на некоторое время, но если он сильно зол, нельзя предвидеть, как он поступит. И это кошмар.

— Бог да поможет тебе, солдат, — доносится голос из темноты. — Жалею, что не могу дать больше.

— Ничего, сэр, — говорит Слепой Уилли, но мыслями он все еще с Джаспером Уилоком, который душится дешевым одеколоном и разговаривал с падре о слепом с картонкой, о слепом, который, по мнению Уилока, и не слепой вовсе. Что он сказал: «Отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний там насобираешь». — Самого счастливого Рождества, сэр, спасибо, что помогли мне.

И день продолжается.

4:25 ДНЯ

Его зрение начинает возвращаться — смутное, нечеткое, но уже надежное. Это сигнал, что ему пора сворачиваться и уходить.

Он становится на колени, держа спину прямой, как штык, и снова кладет палку за чемоданчиком. Надевает резинку на последние банкноты, сваливает их и последние монеты на дно чемоданчика, затем укладывает туда бейсбольную перчатку и украшенную канителью картонку. Защелкивает чемоданчик и встает, держа палку в другой руке. Теперь чемоданчик стал очень тяжелым и оттягивает ему руку металлом, насыпанным в него от чистого сердца. Слышится густое побрякивание — монеты перекатываются лавиной в новое положение, а затем замирают в беззвучной неподвижности, будто руда глубоко под землей.

Он идет по Пятой авеню, покачивая чемоданчиком в левой руке, будто якорем (за долгие годы он привык к его весу и в случае необходимости мог бы пройти с ним куда дальше, чем ему предстоит сегодня), держа палку в правой и изящно постукивая ею по тротуару перед собой. Палка эта волшебная — она обеспечивает овальный карман пустого пространства перед ним на кишащем толпами тротуаре. К тому времени, когда он доходит до угла Сорок третьей, он уже видит это пространство. Видит он и вспыхивающий сигнал «стоп!» на Сорок второй, но продолжает идти, позволив хорошо одетому длинноволосому человеку с золотыми цепочками ухватить его за плечо.

— Осторожнее, любезный, — говорит длинноволосый. — Идут машины.

— Благодарю вас, сэр, — говорит Слепой Уилли. — Не стоит благодарности. Счастливого Рождества. Слепой Уилли проходит мимо сторожевых львов Публичной библиотеки, оставляет за собой еще два квартала и сворачивает на Шестую авеню. Никто его не останавливает, никто не маячил поблизости весь день, наблюдая, как он собирает подаяния, для того чтобы потом пойти за ним, выжидая удобного случая выхватить чемоданчик и убежать (не то чтобы многим ворам удалось бы убежать с ним — нет, только не с этим чемоданчиком). Однажды, уже давно, летом семьдесят девятого двое-трое парней, возможно черных (сказать наверняка он не мог, но их голоса звучали, как у черных — зрение в тот день к нему возвращалось медленно, как обычно в теплое время года, когда дни длиннее), остановили его и заговорили с ним в манере, которая ему не понравилась. Не как нынче мальчишки с их шуточками о чтении вафельницы и предположениями, как выглядит вклейка «Плейбоя», набранная шрифтом Брайля. Они говорили тише и даже как-то жутковато-ласково — вопросы, сколько он собрал у святого Пата, и не расщедрится ли он, случаем, на пожертвование какой-то Лиги поло, и не нуждается ли он в сопровождении до автобусной остановки, или вокзала, или куда-нибудь еще. Один, возможно, будущий сексолог, спросил, не требуется ли ему иногда молоденькая подстилочка. «Это вас взбодрит, — сказал голос слева от него тихо, почти томно. — Да, сэр, уж в это-то дерьмо вы верите».

Он чувствовал себя так, как, наверное, должна чувствовать себя мышь, когда кошка только еще мнет ее мягкими лапами, не выпуская когтей, желая узнать, что сделает мышь, и как быстро она побежит, и как будет пищать от нарастающего ужаса. Однако ужаса Слепой Уилли не испытывал. Страх — да, конечно, вы могли с полным правом сказать, что он испугался, — но всепоглощающего ужаса он не испытывал со времени своей последней недели в зелени, той недели, которая началась в долине А-Шау и кончилась в Донг-Ха, той недели, когда вьетконговцы непрерывно оттесняли их на запад, одновременно нападая с флангов — гнали их, словно скот, между двумя изгородями, непрерывно вопя с деревьев, иногда хохоча в джунглях, иногда стреляя, иногда пронзительно вопя по ночам. «Человечки, которых тут нет» — как их называл Салливан. Здесь нет ничего и отдаленно похожего — даже самый слепой его день на Манхэттене не так темен, как ночи после того, как они потеряли капитана. В этом было его преимущество и просчет парней. Он просто повысил голос и заговорил так, как может заговорить человек в большой комнате, обращаясь к многочисленным друзьям: «Эй! — воскликнул он, обращаясь к призрачным теням, которые медленно скользили мимо него по тротуару. — Эй, кто-нибудь не видит поблизости полицейского? По-моему, эти ребята задумали утащить меня с собой». И все. Легче, чем отделить дольку от очищенного апельсина: парни, взявшие его в кольцо, внезапно исчезли, как дуновение прохладного ветерка.

Если бы столь же просто он мог отделаться и от полицейского Уилока!

4:40 ДНЯ

«Шератон-Готэм» на углу Сороковой и Бродвея входит в число самых больших первоклассных отелей мира, и в огромной пещере его вестибюля под гигантской люстрой косяками взад и вперед движутся тысячи людей. Здесь они гонятся за своими удовольствиями, там выкапывают свои клады, не замечая ни рождественской музыки, льющейся из усилителей, ни гула разговоров в трех ресторанах и пяти барах, и в роскошных лифтах, скользящих вверх-вниз в шахтах-нишах, будто поршни какой-то экзотической стеклянной машины... ни слепого, который постукивает палкой между ними, пробираясь к саркофагообразному мужскому туалету, величиной почти со станцию подземки. Он идет, повернув наклейку на чемоданчике к себе, и он настолько неприметен, насколько может быть слепой. А в этом городе, значит, очень и очень неприметен.

«Тем не менее, — думает он, входя в кабинку, снимая куртку и выворачивая ее, — как случилось, что за все эти годы никто не попытался меня выследить? Никто ни разу не заметил, что слепой, который входит, и зрячий, который выходит, одного телосложения, с одним и тем же чемоданчиком в руке?»

Ну, в Нью-Йорке почти никто не замечает того, что не касается его или ее прямо — по-своему они все так же слепы, как Слепой Уилли. Покидая свои кабинеты и приемные, наводняя тротуары, заполняя платформы подземки и дешевые рестораны, они производят отталкивающее и печальное впечатление; они — точно кротовые гнезда, вывернутые плугом фермера. Он наблюдал их слепоту снова и снова и знает, что в ней — причина его успеха... но, конечно же, не единственная. Они ведь не все — кроты, а он бросает кости уже очень долгое время. Конечно, принимает меры предосторожности, это так — много всяких мер, но бывают моменты (вроде этого, когда он сидит тут со спущенными штанами), когда его так легко поймать, так легко ограбить, так легко изобличить! Уилок прав насчет «Пост», они бы в него вцепились, вздернули выше Амана. Им никогда не понять., они даже не хотят понимать, выслушать его сторону вопроса. Какую сторону? И почему ничего такого не случилось ни разу?

Он верит: по велению Бога. Потому что Бог добр, Бог суров, но он добр. Он не в силах заставить себя исповедаться, но Бог словно бы понимает его. Покаяние требует времени, но время ему дано. Бог сопутствовал каждому его шагу.

В кабинке, все еще в промежутке между своими ипостасями, он закрывает глаза и молится: сначала возносит благодарение, потом молит об указаниях, потом снова возносит благодарение. Как всегда, он завершает молитву шепотом, слышным только ему и Богу:

— Если я умру в зоне боевых действий, засунь меня в мешок и отправь домой, если я умру в состоянии греха, закрой Свои глаза и прими меня. Угу. Аминь».

Он выходит из кабинки, выходит из туалета, покидает многоголосый водоворот «Шератон-Готэма», и никто не останавливает его, никто не говорит: «Извините, сэр, но разве вы не были только что слепы?» Никто не смотрит на него, когда он выходит на улицу, неся тяжелый чемоданчик так, будто он весит двадцать фунтов, а не пятьдесят. Бог хранит его.

Сыплет снег. Он медленно идет под хлопьями — снова Уилли Ширмен — и часто перекладывает чемоданчик из одной руки в другую. Еще один усталый прохожий на исходе дня. На ходу он продолжает думать о своей необъяснимой удаче. В Евангелии от Матфея есть стих, который он выучил наизусть: «Они — слепые поводыри слепых, — говорится в нем, — а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». А еще есть старая пословица, что в стране слепых одноглазый — король. Так не он ли одноглазый? Если оставить Бога в стороне, не тут ли скрыта практическая причина его успеха все эти годы?

Может, да, а может, нет. В любом случае он был храним... и ни в коем случае он не оставит Бога в стороне. Бог неотъемлем от общей картины его жизни. Бог пометил его в 1960 году, когда он сначала помог Гарри Дулину подразнить Кэрол, а потом помог Гарри Дулину избить ее. Это согрешение никогда не исчезало из его памяти. То, что произошло среди деревьев неподалеку от поля Б, знаменует все остальное. Он даже хранит перчатку Бобби Гарфилда, как напоминание. Уилли не знает, где теперь Бобби, да его это и не интересует. Кэрол он не терял из виду, пока мог, а Бобби никакого значения не имел. Бобби утратил всякое значение, когда помог ей. Уилли видел, как он ей помог. Сам он не посмел пойти туда и помочь ей — боялся того, что с ним сделает Гарри Дулин, боялся всех ребят, которым Гарри мог рассказать, боялся стать меченым, — а Бобби не побоялся. Бобби помог ей тогда, Бобби покарал Гарри Дулина в то же лето, только позже, и за то, что он сделал все это (вероятно, просто за первое, за помощь ей), Бобби достиг, Бобби преодолел. Он сделал то, что Уилли не посмел сделать, он взялся, и преодолел, и достиг, а теперь Уилли должен сделать все остальное. А сделать надо так много... Покаяние — это сверхурочная работа и даже больше. Вот ведь, хотя все три его ипостаси несут епитимью, он еле справляется.

И все-таки он не может сказать, что живет в сожалениях. Иногда он думает о добром разбойнике, о том, который в тот же вечер был с Христом в раю. В пятницу днем истекаешь кровью на Голгофе, каменистом холме; вечером вместе с Царем запиваешь чаем сладкие булочки. Иногда кто-то пинает его, иногда кто-то толкает его, иногда он тревожится, что его заберут. Ну и что? Разве он не стоит там за всех тех, кто способен только стоять в тени, когда творится зло? Разве он не просит подаяния ради них? Разве ради них он в 1960 году не взял бейсбольную перчатку Бобби, перчатку Алвина Дарка? Он взял ее. Господислави его, он взял перчатку. А теперь они кладут в нее деньги, пока он безглазый стоит перед собором. Он просит подаяния ради них.

Шэрон знает... что, собственно, знает Шэрон? Кое-что, да. Но сколько, он сказать не может. Во всяком случае, достаточно, чтобы купить канитель; достаточно, чтобы сказать ему, что он выглядит очень мило в своем костюме от Пола Стюарта и модном синем галстуке; достаточно, чтобы пожелать ему удачного дня и напомнить про яичный коктейль. Этого достаточно. Все прекрасно в мире Уилли — за исключением Джаспера Уилока. Что ему делать с Джаспером Уилоком?

«Надо бы как-нибудь вечерком последить, куда ты пойдешь отсюда», — пыхтит ему на ухо Уилок, пока Уилли перекладывает наливающийся тяжестью чемоданчик из одной руки в другую. Ноют уже оба плеча, и он будет рад, когда доберется до своего здания. «Посмотреть, что ты станешь делать. Посмотреть, в кого превратишься».

Ну что ему делать с Джаспером, Красой Полиции? Что он, собственно, МОЖЕТ сделать?

Он не знает.

5:15 ДНЯ

Паренек в грязной красной куртке с капюшоном давно ушел, его место занял еще один уличный Санта. Уилли сразу узнает молодого пузанчика, опускающего доллар в котелок Санты.

— Э-эй, Ральфи! — окликает он его.

Ральф Уильямсон оборачивается, его лицо озаряется — он узнает Уилли, — и он приветственно поднимает руку в перчатке. Снег уже валит вовсю. Окруженный яркими фонарями, рядом с Санта-Клаусом Ральф выглядит как центральная фигура на рождественской открытке. А может быть, как современный вариант диккенсовского персонажа.

— Э-эй, Уилли, как дела-делишки?

— Лучше некуда, — говорит Уилли, подходя к Ральфу с веселой улыбкой на лице. Крякнув, он ставит чемоданчик на землю, шарит в кармане брюк, нащупывает доллар для котелка Санты. Вероятно, еще один мошенник, и котелок у него проеденный молью кусок дерьма, но какого черта?

— Что у тебя там? — спрашивает Ральф, теребя шарф и поглядывая вниз на чемоданчик Уилли. — Гремит так, будто ты ограбил копилку зазевавшегося малыша.

— Не-а, просто нагревательные спирали, — говорит Уилли. — Тысяча штук.

— Работаешь по самое Рождество?

— Угу, — говорит он, и тут его вроде как осеняет насчет Уилока. Просто стукнуло и тут же пропало. Но все равно есть с чего начинать. — Угу, по самое Рождество. Нет мира нечестивым, слышал такое?

Широкая симпатичная физиономия Ральфа сморщивается в улыбке.

— Сомневаюсь, что ты такой уж нечестивый. Уилли улыбается в ответ.

— Ты понятия не имеешь, Ральфи, какое зло таит сердце специалиста по обогреву и охлаждению. А вот после Рождества наверное передохну несколько дней... Пожалуй, отличная мысль.

— Поедешь на юг? Во Флориду?

— На юг? — Уилли слегка теряется, потом смеется. — Кто-кто, только не я. У меня дома работы по горло. Человеку следует содержать свой дом в порядке. Не то в один прекрасный день подует свежий ветерок, и крыша рухнет ему на голову.

— Ну, может быть. — Ральф вздергивает шарф повыше к ушам. — Увидимся завтра?

— Само собой, — говорит Уилли и протягивает руку в перчатке ладонью вверх. — Давай пять!

Ральфи дает пять, потом переворачивает свою ладонь.

— Дай десять, Уилли. Уилли дает ему десять.

— Значит, хорошо, Ральфи-беби? Застенчивая улыбка мужчины превращается в ликующую мальчишечью ухмылку.

— Так чертовски хорошо, что я должен повторить! — восклицает он и хлопает по руке Уилли с властной уверенностью. Уилли смеется.

— Ты настоящий мужчина, Ральф. Достиг.

— И ты настоящий мужчина, Уилли, — отвечает Ральф с чопорной серьезностью, довольно смешной. — Счастливого Рождества.

— И тебе того же с кисточкой.

Он секунду стоит неподвижно, следя, как Ральф уходит в кружащемся снегу. Рядом с ним уличный Санта монотонно звонит в свой колокольчик. Уилли поднимает чемоданчик и поворачивается к двери своего здания. Тут ему что-то бросается в глаза, и он останавливается.

— У тебя борода набок съехала, — говорит он Санте. — Если хочешь, чтобы люди в тебя верили, поправь свою трахнутую бороду.

Он входит в здание.

5:25 ДНЯ

В чулане «Обогрева и охлаждения» стоит большая картонка. Она полна матерчатых мешочков, таких, какие банки используют под мелочь. На них обычно напечатано название банка, но эти чистые. Уилли заказывает их прямо в фирме-производительнице в Маундсвилле, Западная Виргиния.

Он открывает чемоданчик, быстро откладывает в сторону рулончики банкнот (их он унесет домой в дипломате Марка Кросса), затем набивает четыре мешочка монетами. В дальнем углу чулана старый видавший виды металлический шкафчик с краткой надписью «ЗАПЧАСТИ». Уилли распахивает дверцу, замка нет, так что отпирать его не требуется. Внутри еще около ста мешочков с монетами. Десяток раз в год они с Шэрон объезжают церкви центрального района и проталкивают эти мешочки в щели для пожертвований или в дверцы для пакетов, если они туда пролезают, или просто оставляют у дверей, если нет. Львиная доля всегда достается св. Пату, где он стоит день за Днем в темных очках и с картонкой на шее.

Но не каждый день, думает он, раздеваясь. Мне не обязательно стоять там каждый день, и он снова думает, что, может быть, после Рождества Билл, Уилли и слепой Уилли Гарфилд отдохнут неделю. И за эту неделю, глядишь, и отыщется способ сладить с полицейским Уилоком. Заставить его убраться. Кроме, конечно...

— Убить я его не могу, — говорит он тихим ворчливым голосом. — Я обложусь, если убью его.

Только тревожит его не это. БУДУ ПРОКЛЯТ — вот что его тревожит. Убивать во Вьетнаме было другим делом — или казалось другим, но тут-то не Вьетнам, но тут-то не зелень. Разве все эти годы покаяния он нес свое бремя только для того, чтобы перечеркнуть их? Бог испытывает его, испытывает его, испытывает его. Ответ есть. Он знает, что есть. Ответ должен быть. Он попросту — ха-ха, извините за каламбурчик — слишком слеп, чтобы увидеть его.

Да сможет ли он хотя бы отыскать самодовольного прыща? Бля, само собой, это не проблема. Он может достать Джаспера, Красу Полиции, без всякого труда. В любое время. Проследить его до места, где он снимает пистолет и ботинки и задирает ноги на подушку. Но что потом?

Над этим он ломает голову, пока кольдкремом снимает грим, а затем отбрасывает все заботы. Достает из ящика тетрадь ноябрь — декабрь, садится за стол и двадцать минут пишет: «Я сожалею от всего сердца, что причинил боль Кэрол». Он заполняет целую страницу от верхней строчки до нижней, от левого поля до правого. Убирает тетрадь и надевает одежду Билла Ширмена. Он убирает сапоги Слепого Уилли, и его взгляд падает на альбом в красном кожаном переплете. Он вынимает его, кладет на картотечный шкафчик и откидывает переднюю крышку с единственным словом — «ВОСПОМИНАНИЯ», — вытесненным золотом.

На первой странице метрика — Уильям Роберт Ширмен, родился 4 января 1946 года — и отпечатки его крошечных ножек. На следующих страницах фотографии его с матерью, его с отцом (Пат Ширмен улыбается, будто никогда не опрокидывал стульчик сына вместе с ним и никогда не бил жену пивной бутылкой), фотография его с друзьями. Особенно полно представлен Гарри Дулин. На одном снимке восьмилетний Гарри с завязанными глазами пытается съесть кусок торта на дне рождения Уилли (наверное, штраф за какой-то проигрыш). Щеки у Гарри все в шоколаде, он хохочет, и кажется, будто у него в голове нет места ни для единой подлой мысли. При виде этого смеющегося чумазого лица с повязкой на глазах Уилли вздрагивает. Вот так вздрагивает он почти всегда.

Быстро переворачивает страницу и пролистывает альбом ближе к концу, к фотографиям Кэрол Гербер и газетным вырезкам о ней, которые он собирал много лет: Кэрол с матерью, Кэрол с новорожденным братиком на руках нервно улыбается, Кэрол с отцом (он в синей морской форме курит сигарету, она глядит на него широко раскрытыми завороженными глазами), Кэрол в группе поддержки в старшем классе харвичской школы, снятая в прыжке — одна рука взмахивает шапочкой с помпоном, другая придерживает гофрированную юбку. Кэрол и Джон Салливан на украшенных фольгой тронах на школьном вечере в 1965 году, когда их избрали Снежной Королевой и Снежным Королем. Ну просто сахарная парочка на свадебном торте — Уилли думает это всякий раз, когда смотрит на пожелтевший газетный снимок. На ней платье без бретелек, ее плечи безупречны. Нет никакого намека на то, что когда-то на короткое время левое было чудовищно обезображено и торчало двойным горбом злой колдуньи. Она кричала и до этого, последнего удара, сильно кричала, но простых криков Гарри Дулину было мало. В этот последний раз он размахнулся от пяток, и удар биты по ее плечу прозвучал, как удар колотушки по еще не оттаявшему куску мяса, и вот тогда она завопила, завопила так громко, что Гарри сбежал, даже не оглянувшись проверить, бегут ли за ним Уилли и Ричи О'Мира. Удрал старина Гарри Дулин — улепетывал, как вспугнутый кролик. Но что, если бы он остался? Предположим, Гарри не убежал бы, а сказал: «Держите ее, ребята. Не желаю слушать визга, и она у меня замолчит», намереваясь снова ударить от пяток и на этот раз по голове? СТАЛИ БЫ они ее держать? Держать для него даже тогда?

«Ты знаешь, что да, — угрюмо думает он. — К покаянию ты себя приговорил не только за то, что сделал, но и за то, чего не сделал лишь случайно. Так?»

Вот Кэрол Гербер в платье, сшитом в честь окончания школы; фотография подписана «Весна 1966». На следующей странице вырезка из харвичской «Джорнэл» с подписью «Осень 1966». На фотографии опять она, но эта Кэрол, кажется, на миллион лет ушла от чинной девочки в выпускном платье, чинной девочки с аттестатом в руке, белых туфельках на ногах и со скромно потупленными глазами. Эта девушка пылает огнем и улыбается, эти глаза смотрят прямо в объектив. Она словно не замечет, что по ее левой щеке течет кровь. Она держит перед собой знак мира. Эта девушка уже на пути в Данбери, эта девушка уже в туфельках для танцев в Данбери. Люди умирали в Данбери, кишки вываливались, беби; и Уилли не сомневается, что отчасти ответственность лежит на нем. Он прикасается к огненной, улыбающейся, окровавленной девушке с плакатом «ОСТАНОВИТЕ УБИЙСТВА!» (только вместо того чтобы остановить их, она стала причастной к ним) и знает, что в конце только ее лицо имеет значение, ее лицо — дух того времени. 1960-й — это дым, а здесь огонь. Здесь Смерть с кровью на щеке и улыбкой на губах и плакатом в руке. Здесь доброе старое данберийское безумие.

Следующая вырезка — первая страница данберийской газеты целиком. Он сложил ее втрое, чтобы она уместилась в альбоме. Самое большое из трех фото — вопящая женщина на середине мостовой, поднимающая вверх окровавленные руки. Позади нее кирпичное здание, которое треснуло, как яйцо. «Лето 1970» написал он снизу.

6 ПОГИБЛО, 14 РАНЕНО ПРИ ВЗРЫВЕ БОМБЫ В ДАНБЕРИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗЯЛА НА СЕБЯ РАДИКАЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА

«НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСТРАДАТЬ», — ЗАЯВИЛА ПОЗВОНИВШАЯ В ПОЛИЦИЮ ЖЕНЩИНА.

Группировка «Воинствующие студенты за мир», как они себя называют подложила бомбу в лекционном зале студгородка Университета Коннектикута в Данбери. В день взрыва там между 10 утра и 4 дня проводили собеседование представители «Коулмен кемикалс». Видимо, взрыв намечался на шесть утра, когда в здании никого не бывает. Но бомба не взорвалась. В восемь часов, а потом в девять кто-то (предположительно кто-то из ВСМ) звонил в службу безопасности университета и сообщал о бомбе в лекционном зале на первом этаже. Был произведен поверхностный обыск, эвакуация здания произведена не была. «Восемьдесят третье предупреждение о бомбе за этот год!» — сказал неназванный охранник. Бомба обнаружена не была, хотя ВСМ позднее категорически настаивали, что место ее нахождения было точно указано — вентиляционная шахта с левой стороны зала. Есть сведения (неопровержимые для Уилли Ширмена, если не для других), что в четверть первого во время перерыва в собеседовании некая молодая женщина попыталась — с большим риском для собственной жизни и здоровья — собственноручно извлечь бомбу. Она провела примерно десять минут в опустевшем зале, прежде чем ее почти насильно увел оттуда молодой человек с длинными черными волосами. Видевший их уборщик позднее опознал в мужчине Реймонда Фиглера, главу ВСМ. Молодую женщину он опознал как Кэрол Гербер.

В этот день без десяти два бомба наконец взорвалась. Господислави живых. Господислави мертвых.

Уилли переворачивает страницу. Заголовок из «Оклахомен» Оклахома-Сити, апрель 1971 года.

3 РАДИКАЛА УБИТЫ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ У ДОРОЖНОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ

«Крупная рыба» могла ускользнуть на несколько минут раньше

Утверждает агент ФБР Тэрмен

Крупная рыба — Джон и Салли Макбрайд, Чарли «Дак» Голден, неуловимый Реймонд Фиглер и... Кэрол. Иными словами, уцелевшие члены ВСМ. Макбрайды и Голден погибли в Лос-Анджелесе шесть месяцев спустя: кто-то в доме продолжал стрелять и бросать гранаты, пока здание пылало. Внутри обгоревших стен Фиглер и Кэрол обнаружены не были, однако полицейские эксперты нашли большое количество крови, группа которой была установлена как АВ, положительный резус-фактор. Очень редкая группа крови. Группа крови Кэрол Гербер.

Умерла или жива? Жива или умерла? Не проходит дня, чтобы Уилли не задал себе этот вопрос.

Он переворачивает следующую страницу альбома, зная, что надо остановиться, что надо вернуться домой — Шэрон будет волноваться, если он даже позвонит (он обязательно позвонит, позвонит из вестибюля; она права: он очень надежный), но остановиться прямо сейчас он не может.

Заголовок над фотографией черного черепа сгоревшего дома на Бенефит-стрит из лос-анджелесской «Тайме».

3 ИЗ «ДАНБЕРИ 12» ПОГИБЛИ В ВОСТОЧНОМ Л. — А. ПОЛИЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОБРОВОЛЬНОЕ УБИЙСТВО-САМОУБИЙСТВО

ТОЛЬКО ФИГЛЕР, ГЕРБЕР НЕ ОБНАРУЖЕНЫ.

Впрочем, полицейские считали, что Кэрол все-таки погибла. Статья не оставляла никаких сомнений. В то время и Уилли поверил, что это так. Столько крови. Но вот теперь...

Умерла или жива? Жива или умерла? Иногда у него в сердце что-то шептало, что кровь значения не имеет, что она выбралась из этого дощатого домишки задолго до заключительных актов безумия. А иногда он верил в то, во что верила полиция — что она и Фиглер ускользнули от остальных после начала стрельбы, но до того, как дом был окружен, и что она либо умерла от ран, полученных в этой перестрелке, либо была убита Фиглером, так как стала для него обузой. Если верить этой версии, огненная девушка с кровью на лице и знаком мира в руке скорее всего теперь скелет, поджаривающийся в пустыне где-то к востоку от Солнца и к западу от Тонопа.

Уилли прикасается к снимку выгоревшего дома на Бенефит-стрит... и внезапно вспоминает имя — имя человека, который, возможно, помешал Донг-Ва стать второй Ми-Лае или Ми-Кхе. Слоуком. Вот как его звали. Это точно. Будто почернелые балки и разбитые окна прошептали ему это имя.

Уилли закрывает альбом и убирает альбом. Он в мире сам с собой. Приводит в порядок то, что еще нужно привести в порядок в конторе «Междугородного обогрева и охлаждения», затем осторожно спускается в люк, нащупывает ногой верх стремянки. Ухватывает ручку дипломата и стягивает его вниз. Спускается на третью ступеньку и задвигает на место панель на потолке.

Сам он ничего сделать не может... ничего необратимого... полицейскому Уилоку... но Слоуком мог бы. Да, бесспорно, Слоуком мог бы. Конечно, Слоуком был черным, ну и что? В темноте все кошки серы, а для слепых у них вообще нет цвета. Такое ли уж большое расстояние от Слепого Уилли Гарфилда до слепого Уилли Слоукома? Конечно же, нет. Рукой подать.

— Слышишь ли ты, что слышу я, — напевает он, складывая стремянку и водворяя ее на место. — Чуешь ли ты, что чую я, вкусно ль тебе, что вкусно мне?

Пять минут спустя он плотно закрывает за собой дверь «Специалистов по разведке земель Западных штатов» и запирает ее на все три замка. Потом идет по коридору. Когда лифт останавливается на его этаже, он входит, думая: «Яичный коктейль. Не забыть. Оллены и Дабреи».

— И еще корица, — говорит он вслух. Трое, спускающихся с ним в лифте, оборачиваются к нему, и Билл виновато улыбается.

На улице он поворачивает в сторону Центрального вокзала и, поднимая воротник пальто, чтобы загородить лицо от кружащих хлопьев, ловит себя на одной-единственной мысли:

Санта перед зданием поправил бороду.

ПОЛНОЧЬ

— Шэр?

— Хмммммм?

Голос у нее сонный, далекий. После того как Дабреи наконец ушли в одиннадцать часов, они долго, неторопливо занимались любовью, и теперь она задремывает. Естественно — он и сам задремывает. У него ощущение, что все его трудности разрешаются сами собой... или что их разрешает Бог.

— Может, я передохну с недельку после Рождества. Поразведаю новые места. Думаю сменить адрес.

Ей не для чего знать, чем может заняться Уилли Слоуком в течение недели перед Новым годом. Сделать она ничего не может и будет только тревожиться и — может, да, а может, нет: он лишен способа удостовериться точно — почувствует себя виноватой.

— Отлично, — говорит она. — А заодно сходишь в кино, верно? — Ее пальцы высовываются из темноты и слегка касаются его плеча. — Ты так много работаешь. — Пауза. — И кроме того, ты вспомнил про яичный коктейль. Я думала, что ты наверняка позабудешь. И очень тобой довольна, милый.

Он ухмыляется в темноте на ее слова, ничего не может с собой поделать. В этом вся Шэрон.

— Оллены очень ничего, но от Дабреев скулы сводит, верно? — спрашивает она.

— Немножко есть, — соглашается он.

— Если бы вырез ее платья был чуть пониже, она могла бы устроиться работать в бар, где официантки по пояс голые. Он молчит, но снова ухмыляется.

— Сегодня было хорошо, правда? — спрашивает она у него. И в виду она имеет не их маленькую вечеринку.

— Да, замечательно.

— У тебя был хороший день? Я все не успевала спросить.

— Отличный день, Шэр.

— Я тебя люблю, Билл.

— И я тебя люблю.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Погружаясь в сон, он думает о мужчине в ярко-красном лыжном свитере. Он переносится за грань яви, не замечая этого, и мысль плавно переходит в сон. «Шестьдесят девятый и семидесятый были тяжелыми годами, — говорит мужчина в красном свитере. — Я был на Гамбургере с три-сто восемьдесят седьмой. Мы там потеряли много хороших ребят. — Тут он веселеет. — Но у меня есть вот что! — Из левого кармана пальто он вытаскивает седую бороду на веревочке. — И это. — Из правого кармана он достает смятый стаканчик из-под кофе и встряхивает его. Несколько монет стучат о дно, будто зубы. — Так что, как видите, — говорит он, растворяясь, — даже самая слепая жизнь имеет свои компенсации».

Затем и сон растворяется, и Билл Ширмен крепко спит, пока в шесть пятнадцать следующего утра его не будят радиочасы под звуки «Маленького барабанщика».